

УДК 821.111-31(73)  
ББК 84(7Coe)-44  
М80

Toni Morrison  
THE BLUEST EYE

Copyright © 1970 by Toni Morrison

Перевод с английского *И.А. Тогоевой*

Разработка серии и иллюстрация на переплете *К.А. Териной*

Дизайн переплета *А.Г. Саукова*

**Моррисон, Тони.**

М80 Самые голубые глаза / Тони Моррисон ; [перевод с английского И. А. Тогоевой]. — Москва : Эксмо, 2020. — 352 с. — (Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий).

ISBN 978-5-04-108294-9

В этом романе Тони Моррисон показывает темное закулисье маленького американского городка, где живет Пикола Бридлав, единственная мечта которой — голубые глаза.

Красота — понятие относительное, но для Америки 40-х годов черной красоты не существует.

Моррисон рассказывает сотканную из лоскутов трагедий, невежества, предрассудков историю чернокожей девочки, желающей одного — чтобы на нее взглянули по-другому.

А еще — истории множества других людей: ее родителей, одноклассников, знакомых. Перед нами чередой проходят события, которые перевернули жизнь Пиколы навсегда.

Есть книги, читать которые — больно. Но это боль исцеляющая, потому что о чем бы ни писала Моррисон, все ее книги — о любви.

УДК 821.111-31(73)  
ББК 84(7Coe)-44

© Тогоева И., перевод на русский язык,  
2020

© Издание на русском языке, оформление.  
ООО «Издательство «Эксмо», 2020

ISBN 978-5-04-108294-9

*Тем двоим, что дали мне жизнь,  
и тому единственному человеку, который  
сделал меня свободной*



Вот их дом. Он зеленый с белым. А дверь красная. Он очень хорошенький. Вот семья, что живет в этом бело-зеленом домике. Мать, отец, Дик и Джейн. Они очень счастливы. Это Джейн. У нее красное платьице. Она хочет играть. Кто будет играть с Джейн? Это их кошка. Она мяукает. Иди сюда, поиграем. Иди, поиграй с Джейн. Но котенок играть не желает. Это мать. Она очень милая. Мама, ты поиграешь с Джейн? Мать смеется. Смейся, мама, смейся. Это отец. Он большой и сильный. Папа, ты поиграешь с Джейн? Отец улыбается. Улыбайся, папочка, улыбайся. Это их собака. Собака лает. Ты хочешь поиграть с Джейн? Видите, собака убегает. Беги, собака, беги. Смотрите, смотрите. Это идет один из друзей. Друг поиграет с Джейн. Они будут играть в хорошую игру. Играй, Джейн, играй.

Вот их дом он зеленый с белым а дверь красная он очень хорошенький вот семья что живет в этом бело-зеленом домике мать отец

*Тони Моррисон*

дик и джейн они очень счастливы это джейн у нее красное платье она хочет играть кто будет играть с джейн это их кошка она мяукает иди сюда поиграем иди поиграй с джейн но котенок играть не желает это мать она очень милая мама ты поиграешь с джейн мать смеется смейся мама смейся это отец он большой и сильный папа ты поиграешь с джейн отец улыбается улыбайся папочка улыбайся это их собака собака лает ты хочешь поиграть с джейн видите собака убегает беги собака беги смотрите смотрите это идет один из друзей друг поиграет с джейн они будут играть в хорошую игру играй джейн играй

Вот их дом зеленый с белыми дверями красная она очень хороша маленький вот семья что живет в этом бело-зеленом домике мать отец дик и джейн они очень счастливы это джейн у нее красное платье она хочет играть кто будет играть с джейн это их кошка она мяукает иди сюда поиграем иди поиграй с джейн котенок играть не желает это мать она очень милая мама ты поиграешь с джейн мать смеется смейся мама смейся это отец он большой и сильный папа ты поиграешь с джейн отец улыбается улыбайся папочка улыбайся это их собака собака лает ты хочешь поиграть с джейн видите собака убегает беги собака беги смотрите смотрите это идет один из друзей друг поиграет с джейн они будут играть в хорошую игру играй джейн играй

*Пока это так и осталось для нас тайной, но осенью 1941 года бархатцы ни у кого не цвели. Нам-то казалось, что у нас они не зацвели и даже не взошли, потому что Пикола была беременна от своего отца. Если бы мы провели самое пустяковое расследование и поменьше грустили, то поняли бы, что бархатцы не взошли не только у нас; ни в одном саду той осенью бархатцев не было. Даже в тех, что выходят к озеру. Но мы были настолько озабочены тем, чтобы Пикола благополучно родила здорового ребеночка, что ни о чем другом и думать не могли; и потом, мы были уверены в своей магии: если уж мы посадили семена и правильные слова над ними сказали, так они непременно должны были и взойти, и расцвести. И тогда все было бы хорошо. Лишь много времени спустя мы с сестрой догадались, что никаких всходов наши семена не дадут. И сразу принялись облегчать собственное чувство вины в бесконечных спорах, взаимных обвинениях и попытках выяснить, кто же все-таки виноват. Много лет я считала, что моя сестра была права и это я совершила ошибку, посеяв семена слишком глубоко. Нам обеим даже в голову не приходило, что сама земля могла отказаться родить. Мы посеяли семена на нашем собственном клочке черной земли точно так же, как посеял свои семена у себя отец Пиколы. Наша невинность и вера оказались не более плодотворны, чем его вожделение и отча-*

*Тони Моррисон*

*яние. Теперь ясно лишь одно: та надежда, вера, похоть, любовь и печаль ничего не дали; остались лишь Пикола да упрямо не желавшая плодоносить земля. Чолли Бридлав умер; умерла и наша невинность. Наши семена, так и не взойдя, погибли в земле; погиб и ребенок Пиколы.*

*Тут и сказать-то на самом деле больше нечего — разве что «почему?». Но поскольку на этот вопрос ответить очень трудно, стоит, пожалуй, укрыться за словом «как».*

## *Осень*

Монахини проходят мимо, неслышные, как похоть, и пьяные мужчины с трезвыми глазами поют в лобби греческого отеля. Розмари Виллануччи, наша ближайшая соседка, — она живет над кафе, принадлежащем ее отцу, — сидит в «Бьюике» выпуска 1939 года и ест хлеб с маслом. Опустив окно, она высовывается и говорит нам, моей сестре Фриде и мне, что мы-то в машину сесть не можем. Мы смотрим на нее: нам тоже хочется хлеба с маслом, но еще больше нам хочется дать ей в глаз, чтобы вдребезги разнести эту наглую физиономию, на которой написана гордость собственницы, прямо-таки брызжущая из ее жующего рта. Ничего, пусть только вылезет из машины! Уж мы эту противную Розмари так поколотим, что вся ее белая кожа будет в красных отметинах, а сама она будет плакать и спрашивать, не надо ли, чтобы она сама свои штаны спустила. Мы гордо скажем «нет», хотя понятия не имеем, что должны почувствовать или сде-

лать, если она действительно их спустит. Но, когда она у нас об этом спрашивает, мы все же понимаем: она предлагает нам нечто весьма ценное, а потому все подобные предложения гордо отвергаем.

Занятия в школе уже начались, и мы с Фридой получили новые коричневые чулки и пьем рыбий жир. Взрослые усталыми нервными голосами обсуждают дела угольной компании «Зик» и заставляют нас ходить вечером на железнодорожные пути, прихватив мешки из грубой дерюги, и собирать там мелкие куски угля. А когда мы возвращаемся домой, то, оглянувшись, видим, как в овраг, что тянется вокруг сталеплавильного завода, вываливаются целые огромные вагоны огненно-красного дымящегося шлака. Сполохи неяркого тускло-оранжевого огня так и вспыхивают в небесах. Мы с Фридой тащимся позади всех и все оглядываемся на эту полосу оранжевого света, окруженную чернотой. И неизменно начинаем дрожать, когда наши босые ступни перестают чувствовать под собой гравиевую тропу и входят в заросли ледяной пожухлой травы на поле вокруг нашего дома.

Дом у нас старый, холодный, выкрашенный зеленой краской. По вечерам одну-единственную большую комнату освещает керосиновая лампа. В остальных помещениях царит тьма и шуршат тараканы и мыши. Взрослые с

нами не разговаривают — они *дают нам указания*, которые, впрочем, никак не объясняют. Если мы споткнемся и упадем, они лишь с удивлением взглянут на нас; если кто-то из нас случайно порежется или сильно ушибется, они только спросят: «Вы что, спятили?» Когда мы простужаемся, они с негодованием качают головой, считая, что не заболеть у нас «попросту ума не хватило». Как, спрашивается, говорят они, можно что-то сделать, если вы все время валяетесь больные? Разумеется, на это мы ничего ответить не можем. Нашу болезнь лечат презрением, вонючим слабительным из александрийского листа и касторовым маслом, от которого у нас совсем тупеют мозги.

Как-то раз, на следующий день после похода за углем на железнодорожные пути, я довольно сильно закашлялась — бронхи у меня уже были напрочь забиты мокротой, — и мать, нахмурившись, велела: «О господи, полезай-ка снова в кровать! Сколько раз мне говорить, чтоб ты голову чем-нибудь покрыла? Да куда там, другой такой дуры во всем городе не сыщешь! Фрида, отыщи какую-нибудь тряпку да заткни щель в окне».

Фрида старательно затыкает оконную щель, а я снова тащусь к кровати, исполненная чувства вины и жалости к себе. В постель я ложусь, почти не раздеваясь, и металлические застежки на резинках для чулок больно

врезаются мне в ноги, но снять чулки я не решаюсь — без них лежать слишком холодно; я и так с трудом ухитрюсь согреть себе крохотное местечко в форме собственного тела. А потом я даже шевельнуться боюсь, ибо уже в паре сантиметров от границ нагретого места начинается зона холода. Никто со мной не разговаривает, не спрашивает, как я себя чувствую. Но где-то через час или два мать все же подходит ко мне и своими большими грубыми руками начинает с силой растирать мне грудь жгучей мазью «Викс». Я прямо-таки застываю от боли. Мать щедро зачерпывает мазь двумя пальцами и трет, трет мои несчастные ребра, пока я чуть ли сознание не теряю. И в тот самый момент, когда мне кажется, что я не выдержу и сорвусь в крик, мать подцепляет пальцем еще немного мази, сует мне в рот и требует, чтобы эту порцию я проглотила. Затем шею и грудь мне туго обматывают нагретой фланелью. Наваливают на меня несколько тяжелых одеял и велят потеть, что я немедленно и делаю.

А чуть позже меня выворачивает наизнанку, и мать недовольно ворчит: «Что ж ты прямо на простыни-то блюешь? У тебя что, совсем мозгов не осталось? Не могла голову с кровати свесить? Глянь, что натворила? Думаешь, мне делать больше нечего, кроме как твою блевотину отстирывать?»

Лужица рвоты сползает с подушки на серо-зеленую, с оранжевыми крапинками, простыню. Она переливается медленно, как недоваренное яйцо, которое упорно не желает расплзаться и пытается сохранить свою форму. Во всяком случае, эта масса явно не стремится быть поскорее убранной. Странно, думаю я, как это блевотине удастся выглядеть одновременно и такой аккуратной, и такой противной?

А мать нудным голосом все продолжает разговаривать, но не со мной, а с блевотиной, и почему-то называет ее моим именем: Клодия. Она тщательно вытирает мерзкую лужу и кладет на мокрое место, оказавшееся довольно-таки обширным, сухое колючее полотенце. Я снова ложусь. Тряпки уже снова вывалились из трещины в оконной раме, из окна дует, в комнате ужасно холодно. Но я не осмеливаюсь ни снова позвать мать, ни встать сама, покинув нагретое местечко. Материн гнев унижает меня; у меня даже щеки горят от ее слов, и я плачу, не понимая, что сердится мать не на меня, а на мою болезнь. Но мне кажется, что она презирает меня за слабость, за то, что я позволила болезни в меня пробраться. Ничего, вскоре я болеть перестану; попросту откажусь это делать! А пока что я плачу от собственного бессилия, хоть и знаю, что так сопли потекут еще сильнее, но остановиться все равно не могу.